ЛИПА ВЕКОВАЯ
(рассказ)

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка – давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, – беседует он со своей палкой, словно с живым существом. – Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое марево. Старик несет тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще – все дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит – не нужна...

Вот из этих мест, лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон, и сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, – работал. Только чуть что, бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьею, ни с домом так и не получилось, потому-то и звал сам себя, где бы ни появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадя; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебывала всякая вся-

чина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать – с коих пор в торбе три толстенных тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев, журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Интересная штука. Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленькин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревню с названием Бунино, удивился, собрался даже наведать ее, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплошал Перекати-Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды – захворай – подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному, к старикам. Вот и шел теперь ближе к погосту, где лежат отец-матерь...

– Какая деревня? – спросил он рисовальщика-паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

– А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко орудует краской, возникают на бумаге дома под железо и шифер, и спросил, удивясь робости в голосе:

– На заказ, что ли?

– Нет, – сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: – Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия историческая. С нее писал Шварц – слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, – сыпал парнишка, – жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слеги... А писалось им с этой же точки.

– Скажите, – вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатою палкой.

– А мы-то с тобой, дураки, и не знали, – бранил он ее так, для порядка, беззлобно. – Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дорого из Белого Колодезя двигались двое – садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом в село почему-то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело по-над ракитами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица с давними каменными постройками-мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, полнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами у отделенческой конторы...

Был самый сезон сбора яблок: бело-колодезьский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстегнутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, как юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными, буйными по-молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано – такие, говорят, легки на ногу. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон – его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весною, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алешка, что творилось в душе его деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны – верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди – ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый за своим делом: Семен Семеныч – в райсобес, насчет пенсии, Алешка ехал в город впервые – устраиваться.

Но вот и Мужлановский сверток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое муравье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны – напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развернутом вершке лежал кусок сахару. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

– Когда это они все зачинят? – присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

– А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, – посмеивается глазами старик и вздыхает: – Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

– Ишь ты, – косится на него Семен Семёныч, – сам-то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут-то тебя?

– Перекати-Коля.

– Так и зовут?.. Мудрёный ты дед, – сладко вытягивает Чубаров ноги. – А ну, Алёшка, чего там у нас?

Алёшка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки – свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание провернуть ее языком.

– Эх-хе-хе, – отворачивается Перекати-Коля. – А мне вот не естся-не пьется, никак не умрется. А что, яблок нетти у вас?

– Да ты, дед, еще справный, – улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. – Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

– Деньки потянутся – ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

– Эх, жисть, – жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. – Молодой боится, что остареет, а старый – околеет.

Перекати-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

– Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыденкой... На, жевни, – подает старику Семен Семеныч лепешку. – Отрываю внука от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

– Эка куда, – оживает Перекати-Коля.

– Десятилетку закончил Алешка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернется внук мой в деревню, наденет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха-ха...

– А как же, – в ответ посмеивается Алешка. – Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! – твердеет голос Алешкин. – Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

– Ишь ты, Александр Македонский, – удивляется Перекати-Коля. – Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

– Все гнулся, небось, – буркнул Алешка под нос себе, но Перекати-Коля услышал.

– Молодой человек! – старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово. – Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашка-то, р-раз и нетти. Губа толста, душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы – глядишь, загибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, вземь по самую шляпку...

– Каждого не загонишь, – тряхнул головою Алешка. – Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь. Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирал ее – сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще непросохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой – липа, липушка вековая. Лето – осень, осень – лето пройдут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

– Интересно узнать, чем все это кончится, – нарушил молчание Перекати-Коля. – Жилось и не думалось, а пришел час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

– Сирота он у меня, – сказал Чубаров раздумчиво, – боюсь, дюже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысел по книжкам, стало быть, правду жизни.

– Что ты знаешь! – вспыхнул Алешка. – Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожаи, а людям – заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

– На язык ты востер, – говорил с грустью Чубаров. – А вот когда дело – в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето – не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера – сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

– В бригадиры б тебя, Семен Семенович, – не унимался Алешка. – А то управляющим...

– Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекати-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

– Мухи, гляжу, пошли дюже злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, полозиют – вроде как ногтями тебя.

– Куснет, брат, и до крови, – отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

– Да, кровь, брат ты мой, кого только не тянет... – живо подхватил Перекати-Коля. – Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад, глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось воронье, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислуши-

валась да шевелилась каждым листом, каждою веткой – липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати-Колю («а что, не проживешь нас, не объешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Проходили поселком Кубанью, деревенькой Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке – крепенькой, из красного кирпича, со снесенным куполом, отчего она казалась незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и нощно трудился. Были почетные грамоты, ордена. И вот уберет урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады – вот что оставляет он людям. Разве этого мало – сады?..

Подобралась и ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звезд увиделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на Мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу – свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет», – горячился Семен Семеныч. – «А я костистый, кремнистый», – огрызался Алешка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

– ...Пел мне песнь о Гайавате... Чтоб народ его был счастлив, Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Димитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь нее, как сквозь эту вот липу – липу давнюю, вековую. Были когда-то вон какие писатели – не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.

с. Белый Колодезь

И УДАРИЛИ В КОЛОКОЛА
(рассказ)

Городку накатило тысячу лет.

Возник он на Руси еще до христианства в густых лесных дебрях на пути «из варяг в греки». Через него перекатывались вороги с огнем и мечом, от батыевских полчищ до наемников Лжедимитрия, и пропадали

в вечности. Росли, возвышались другие, соседние города, а Тучневск за тысячу лет едва ли прибавил и тысячу жителей. Как стоял на высоком откосе Десницы-реки черной хлебной коврижкой с церковными шпилями, так и остался стоять, созерцая спокойные, зеркально-зеленые воды Десницы. Правда, в последние годы шпилей поуменьшилось, зато выросло длинное белокирпичное здание – филиал одного из столичных заводов.

Местные власти решили придать юбилею тот размах, на который был только способен районный бюджет, при этом ресурсы филиала играли, безусловно, главную роль. В замысле отцов города венцом юбилейных торжеств намечалось стать открытие памятника Бояну. Все тучневцы всерьез считали его своим земляком. Почти каждый уже первоклассником повторял наизусть строки:

Вещие персты он подымал
И на струны возлагал живые.

На первую встречу с историческим бардом в вечный град спешили его нынешние единомышленники – поэты соседних городов и весей. Их оказалось не так уж много, всего трое: либо время открытия совпадало с «бархатным сезоном», либо на братию не хватило гладкой бумаги для пригласительных. Эти трое – бородач-мыслитель Матвей Дрынов, предприимчивый Николай Рындин и легковесный Миша Капустин – въезжали в Тучневск на исходе дня, видели впереди «Колхиду» с сосновым ящиком в кузове и, конечно, не подозревали, что прибывают в родной город Бояна почти в одно время с его изваянием.

Как это часто бывает в русских народных сказках, памятник вырос на берегу Десницы-реки всего за ночь. Вернее, его только поставили на пьедестал, подготовленный прежде, и держали пока под полотном. Ветер с реки полоскал складками белой материи и возбуждал интерес. Гости и местные жители уже с утра прохаживались по подчищенному, умытому древнему городу, собирались кучками, схлестывались в спорах, с нетерпением ждали урочного часа. В это время похожий больше на попа-расстригу, чем на поэта, заматеревший Матвей Дрынов просыпался в отведенной ему резиденции. Лежал и смотрел в потолок, соображая. Ну устроились в номере – помнит. Ну Коля Рындин потащил выступать в райотделе внутренних дел («для налаживания контактов с сенью закона») – помнит. Ну молоденький следователь милиции Вася Несмирнов читал стихи и краснел, словно девушка, – тоже помнит. Вася оказался земляком, из Матвеева города, даже в школе одной учились. Дальше была пустота, чернота, провал, Марракотова бездна...

Они вышли на центральную площадь Тучневска. Городок гудел, словно улей. Народ валом валил к Бояну, но, увидев его в полотне, а дощатую сцену перед ним покамест пустой, рассыпался на множество ручьев и ручейков. Песни, смех, подковырки. Кремплины, сапоги-чулки, сапоги на платформе. Где-то пискнула и закатилась гармонь, тут же взвилась частушка. Ринулся на звук Миша Капустин («медом его не корми, куплетиста»), Николай Рындин («тоже мне, артист») тут же подсел к девчатам на лавочку, и Матвей не заметил, как остался один. Он прошел глубже в парк, выбрал глухое местечко, присел.

Отсюда хорошо виден плес, плавный изгиб Десницы-реки, сквозь деревья едва угадывается белое пятнышко – вознесенный над землею Боян. Пока скрытый от глаз, пока в покрывале. На берегу приземистые лабазы, остатки крепостного вала, за бойницами голубой, с золотистыми блестками, купол собора. Чист и прозрачен воздух бабьего лета, листья клена шуршат, шуршат, шевелятся, как и шуршали когда-то...

Матвей сидел в оцепенении и чувствовал себя то самим собой, то Бояном, то снова самим собой, и все, о чем пели когда-то Бояновы струны, обернулось в нем осязаемом плотью, взвилось и затрепетало.

«О Русская земля! О тебе наши думы и боли, для тебя и живем. Костьми своими стелем тебя из веков и в века. Вон стрелой целит в самое око половчанин-кочевник, вон несут латыняне смерть на кончиках копий. И корчатся в междоусобице княжества, хлыщут сабли кривые по серебру Дона, и вот-вот разметется – развеется и исчезнет народ, как стирались их тысячи на бессмертном лике степи. Но держит его, не дает пропасть кем-то сказанное впервые, – о Русская земля! И уже воспеты слова-звоны вещими струнами, и уже клонятся, заслоняют их, будто червленый стяг, люди, русичи, сдруженные в дружины, за дружинами стоит, упирается, выкрепает и здравится матушка Русь.

И ведь гусли твои, Боян, не сильнее шума дубрав, и ведь голос твой затопает в шорохе крыльев лебяжьих, да затронь лишь, дыхни словом-звоном где-то под Киевом, а услышат его аж у Великого Новгорода. И ведь очи твои, Боян, давно сгинули, лопнули, выкипели от трахомы, нещадных пожарищ, и ведь водит тебя в ночи малец-поводырь, да рассыпь по дорогам щедрые звоны – не князья, не советники княжеские, а ты, только ты, неподступный, и видишь горевые и светлые дали Руси. Лишь перстами своими ляг на струны – так и видишь, как баскаки по-сусличьи ускользают в свою Золотую Орду, псов-рыцарей тянет на дно Чудского озера, и смывает ливнем ливонцев, накрывает снегами поляков, французов. Так и мнится, как Невский или Коловрат, Донской, Пожарский, Кутузов призывают его, ясновидца, перед сражением: «А ну вдарь, Боян, в свои вещие струны. А ну глянь в наши судьбы: что там скрыто за тучами туч?»

И плывет плач Боянов по русским пробитым кольчугам, восславляет Боянова песнь уснувшую и уже пробужденную жизнь.

Воспой же, Боян, праздник вечного города, каждый день прожитой тысячи лет.

Возговори же, положи в душу Слово!»

А люди, мимо Матвея, идут и идут по аллее в ожиданье урочного часа.

Стояч и прозрачен воздух бабьего лета. За валом словно врезалась в небеса колокольня – так явственно все на ней до малейшего, даже колокола. Говорят, собор стоит на фундаменте древней церквушки, звон которой, может, слышал Боян.

Листок упал на колено, и Матвея слегка подернуло от озноба, он встал. Приятели сидели на прежнем месте. Предложение Дрынова осмотреть колокольню, на котором бывал, по преданью, сам Боян, было встречено с энтузиазмом.

Прошли к крепостному валу, к Деснице-реке. Через буераки, куски труб и какие-то бревна подходили к собору. Миша Капустин, зацепившись за доску, чуть не влетел в яму с известкой.

– А что, если б влетел? – вертел копной темных кудрявых волос этот Миша.

– Кто бы тогда куплеты писал? – подковыривал его Коля Рындин.

Подошли к собору, к самой двери. Она была вся в известке, рядом высилась горка битого красного кирпича. Из дощатой будки напротив выскочил щекастый маленький человечек. Новая болоньевая курточка и болоньевая фуражка с лакированным козырьком.

– Вы от городских властей? – человечек даже подпрыгнул от радости. – А мы ждем, ждем.

– Мы оттуда, – серьезно сказал Рындин и серьезно посмотрел на Матвея. – Мы комиссия отца Дионисия.

– Какого отца? – человечек на миг приостановился, перевел взгляд на Мишу.

– Ну... это,– опустил глаза Миша Капустин. – От всех отцов сразу... от отцов города.

– А, ну будем знакомы, – суетливо подавал руку каждому маленький человечек. – Прораб Перепелкин.

– Ну так что, товарищ прораб, – уже входил в роль Коля Рындин, – начнем без всяких-яких, с объекта? Переделки-перепелки, недоделки-недо...

– Я бы предложил, – Перепелкин перевалился с ноги на ногу, заглянул в глаза каждому, – предложил бы сначала в прорабскую. Документики, ради праздничка и т. д. и т. п.

– А что, указание какое? – спросил было Дрынов, но Коля Рындин уже вел за рукав Перепелкина. – Можно, понимаете, и без сокращений, понятно?

Стол в прорабской ломился от яств.

Выходили из прорабской в высочайшем расположении духа, всем хотелось на колокольню. Коля Рындин хлопал по плечу Перепелкина, говорил, что здесь не в пример другим прорабским участкам дело, пожалуй, поставлено хорошо, но еще не совсем, можно, конечно, поставить и лучше. Дрынов все хотел втолковать Перепелкину, что они никакая не комиссия, а всего-навсего гости города в связи с юбилеем, но Перепелкину так хотелось, чтобы это была непременно комиссия, и потому он не слушал Матвея. «А где лучше? В тресте по ремонту памятников мы вроде бы не из последних», – ставил он в тупик Дрынова. «А везде хорошо, – отвечал за Матвея Коля Рындин. – Например, у Куропаткина... слыхал такого?., на ремонте этого... ихнего леса».– «Ты даешь,– улыбался Перепелкин сочувственно и подмигивал Матвею: – На объект сразу пойдем или так, на слово поверим?» – «На объект, – было сказано строго, – На колокольню».

Поднимались в темном и затхлом каменном мешке, по вконец рассохшейся лестнице. Доски под ногами всхлипывали, стонали. Эхо гудело в колодце, затихало где-то внизу. Матвей на минуту представил, что будет, если рухнет под ними все это гнилье, и махнул рукой: ладно. И едва поспевал за Перепелкиным. В спину Матвею противно сопел Миша Капустин, от него пахло кожанкой и еще чем-то гнилым, нехорошим, капустой, что ли? «Аденоиды, – раздраженно подумал Матвей. – Давно б выдрал, чертова бочка. От твоих куплетов моль в ушах заведется, никакой дуст не возьмет». Постепенно Матвеевы мысли обретали устойчивость, переходили на твердую юбилейную тему, из глубины подымался Боян, даже лицо воображалось отчетливо, явственно, копия соседский дед Митрофан – пшеничные брови, пшеничные усы, родинка на правой щеке... Вот поэт, из поэтов поэт. Золотое слово, со слезами смешанное...

Пахнуло воздухом, ослепило светом. Колокольня стояла на семи ветрах, кругом так и сквозило. Голуби с шумом бросались вниз, кружились взволнованно, вовсе близко от тех, кто посмел нарушить их золотой покой. Весь Тучневск был как на ладони, со всеми своими улочками и закоулками, огородами и курганами, остатками вала и крепости. Далеко в голубые леса уходила Десницарека. Вот с таких сторожевых мест и оглядывали местность, бывало, их бородатые пращуры, дымами подавали сигнал об опасности дальше по линии, до самой Москвы. Колокольня. Колокола. Вот они, большие и малые, бронзовое литье. В них душа певучая предков, в каждом звуке глубинный смысл... Там, по кромке леса, враги, и, когда удары частят, нагоняют тревогу, обгоняют друг друга, воедино сливаясь, срываются, переходят в набат. И тогда чье же русское сердце не вздрогнет, не навострит себя мужеством, чья рука не потянется к палице? Там они, те леса. Заколодило стежки-дорожки, блудит путник в измраке дебрей. И вдруг, как из сна, явью дедовой сказки где-то тут возникает этот малиновый звон.

Колокольня. Колокольное царство. Главный колокол в рост человека, остальные собратья поменьше – висят на черных дубовых брусах, молчаливо угрюмые, все в пятнах, в голубином помете, прозеленелые, полусъедены временем буквы. И немые – срезаны все языки. Не получится «русского звона». Где-то там, внизу, уже гудит площадь и трепещет белое полотно, все готово к апофеозу. «Как же так, без Бояна? – мечется Коля Рындин по колокольне. – Сейчас мы что-нить придумаем, голос его подадим». И сует Перепелкину ломик железный.

– Это как... по программе? – берет за локоть его прораб Перепелкин.

– По программе, по программе, – объясняет Коли Рындин популярно, с применением рук. – Как врежу в главный колокол – бум, так ты вот по этому – динь-линь-динь. Понял? Делаем благовест... Ну-ка, Миша, глянь, чего там на площади? Поползло полотно?

– Поползло, поползло! – закричал Миша.

– Ну, пошли! – Для торжественности Коля Рындин слегка задержался и, поймав настороженный взгляд Матвея, размахнулся, ударил в край главного колокола, сверху посыпались хворостинки и перья.

– Динь-линь-динь, – ответил массивному гулу тонкий колокол Перепелкина.

Коля Рындин метался по колокольне, показывал, кому за кем вступать. Выходил, получался у них благовест, они это слышали. Гремели, пели свое колокола, Боян с колокольни подавал голос Бояну на площади. Звук главного колокола казался Матвею коричневым, Мишин – синим, этот – зеленым. Стали люди под древние звоны, вглядывались в изваяние, и не было на площади никого, кто бы до слез не гордился сегодня эпохальным, звонким своим земляком...

Под конец Коля дал команду ударить «всеми наличными средствами» – сделали перезвон. Трезвон еще долго стоял в воздухе, звенело в ушах.

– Где это ты наловчился? – спросил Матвей удовлетворенного Колю Рындина и слабо слышал свой голос.

– Потомственный музыкант,– смотрел весело Коля.

Собрались опускаться на грешную землю.

– Шуму не будет? – заглядывал вниз Миша Капустин.

– Чего теперь, – утер Коля Рындин лоб тыльной стороной ладони.

– А вы что, ребята... не по программе? – обеспокоясь, переводил с одного на другого свой взгляд прораб Перепелкин.

– Ладно, не помирай, – тряхнул головой Матвей Дрынов и улыбнулся прорабу: – Не бойсь, нас поймут. В такой день и не подать голос Бояну?

Шли парком к площади, к памятнику Бояну. В объятия бросился Вася, Василий Несмирное, следователь.

– Ищу-ищу, где хоть вы пропадаете?

И потащил всех в павильончик на главной аллее.

– Иже еси на небеси,– пропел Рындин и подморгнул Матвею.

– Я пас, ребята, – сдерживал шаг Миша Капустин. – У меня, ребята, желудок.

– А у нас, по-твоему, что – лоханки? – говорил Дрынов сердито, – Давай, брат, не отставай. Русь сегодня гуляет.

Шли, захватив в ширину половину аллеи. Василия толкнул случайно мужчина средних лет, седоватый, в светлом плаще.

– Стоп! – остановил мужчину Василий. – А ты знаешь, кого толкаешь? Кто я?

Мужчина стоял и смотрел на него внимательно, очень внимательно.

– А ты знаешь, кто я? – выговорил, наконец, он спокойно и усмехнулся.

– И знать не хочу.

– То-то и оно, что не знаешь, – теперь уже твердо сказал мужчина. – Вот и я тебя тоже знать не хочу. Захочу – сам расскажешь.

И пошел своей дорогой.

Василий стоял без движения. Побежал догонять ребят.

– Ну, обменялись мнениями? – усмехнулся Миша Капустин.

– А-а, – раздвинул брови Василий и, хохоча, потащил всех к обрыву читать у обрыва стихи.

После вечера поэзии в местном Доме культуры они возвратились благополучно на свою базу, в гостиницу. В номер к ним, в их отсутствие, подселили еще одного «клиента», уложили дядечку на раскладушке. Администраторша извинялась, просила войти в положение: такая дата, все у них переполнено, а где-то надо же переночевать человеку, тем более тоже гость города: солидный дядечка, генерал в отставке. Миша Капустин, кровать которого прижали по такому случаю к печке, заворчал было на всех этих «солидных, от которых несолидным хоть в трубу лезь», но Коля Рындин прицыкнул, сказал, что положит его к себе на постель, а его, Мишину, койку отдаст генералу. Генерал оказался тот самый, встреченный на аллее, – щупленький, подвижной, ничего мужичок. Во-первых, он наотрез отказался от Мишиной койки, во-вторых, так легко и просто вошел в разговор, что даже Матвей Дрынов, который предпочитал в гостиницах больше внутренние монологи, и тот не заметил, как вскоре втянут был в разговор. Владимир Петрович – так звали нового жителя комнаты, – попал в суть, словно в яблочко.

– Шутка ли, почти тридцать лет не быть на родине, – говорил он с волнением. – Тридцать лет! И теперь у меня здесь никого... Ах, какие тут молодцы, какой праздник устроили! Как гремели колокола! Помню с детства. Особенно этот, сиреневый – динь-линь-динь...

– А вот за колокола надо бы взгреть кой-кого, – упершись в стену затылком, смотрел Матвей на Николая Рындина с легкой улыбкой.

– Как это взгреть? – забеспокоился Владимир Петрович и посмотрел на Матвея внимательно, очень внимательно. – Все, по-моему, к месту: открыли Бояна, ударили колокола.

– Религия – опиум для народа, – парировал бесстрастно Матвей.

– Э, батеньки-матеньки, позвольте с вами не согласиться, – пропел генерал и даже зажмурился от удовольствия. – Да, не согласиться... Вас, молодые люди, еще и на свете не было, когда я ходил в комсомольцах. Диспуты, атеистические вечера. Колоколам языки отрезали, даже сбрасывали на землю... В колоколах, батеньки мои, действительно, если глянуть в историю, есть и герои... Колокола, как людей, ссылали в Сибирь...

– Пусть висят, пусть звонят, – сказал Миша задумчиво.

– Нет, зачем же так иронично? – живо обернулся в его сторону Владимир Петрович. Переводил взгляд с Миши на Матвея и обратно на Мишу, оценивал каждого. – Я вот о чем. С уничтожением церкви мы зацепили многое из культуры. Иконы, сами здания, колокола, а это – живопись, архитектура, музыка... Поезжайте в Азию или Европу – вас непременно поведут смотреть пагоду или костел. А туризм, батеньки мои, сейчас в моде... Есть и нам, конечно, что показать: Байкал, Кавказская ривьера. А им интересно посмотреть, что создано нами, нашим народом, и тут мы им новый аэропорт, новый квартал. Конечно, это интересно. Ну, а что у нас с вами за дух? С чем идем, так сказать, из веков? Вот что, батеньки мои, нам никак нельзя упускать. И для туристов, и для себя. А вы, говорите, колокола... Очень даже было сегодня волнующе. Я орган слушал в Домском соборе – хорошо. Но сегодня так прошибло: полотно скользит, открывается людям Боян, и гремит этот, корич-

невый: «Бум, бум!». А между ним голубые, сиреневые: «Динь-линь-динь, тинь-тинь-тлинь»...

Матвей слушал, соглашался, молчал. Все устали, и все соглашались.

Утром первым с постели схватился Миша Капустин, растолкал Дрынова. Набросили полотенца на шею, прошли на цыпочках к выходу. Пол в коридорчике был цементированный, скользкий, стены в полтора метра, не гостиница – крепость. Окатились ледяной водою до пояса – вмиг слетела дрема, постепенно снималась тяжесть с темени и висков, очищалась мысль. Что ни говори, а распрекрасное это средство – ледяная вода.

– О чем думаешь? – повернулся Матвей к Мише Капустину.

– Что-то не нравится мне этот генерал, – клацая зубами, ответил Миша Капустин. – Для генерала какой-то неправильный.

– И кто он тебе? – растирал полотенцем тело Матвей.

– Журналист, наверно, – пожал Миша Капустин плечами. – По-моему, так.

Дверь выбросила их металлической пружиной на улицу. У парка они встретили Василия Несмирнова, как раз он шел к ним в гостиницу, теперь уже в милицейской форме.

– Ну что, микромайор, еще звездочку не поймал, не привесили? – задевал его Николай Рындин, всегда задирает, заноза.

– Последнюю, спасибо, не сняли, – сделал под козырек Василий и усмехнулся: – Вот что выручило. – И Василий вытащил из кармана газету. – Местная. «Голос Бояна». Видите, сверху крупными буквами «И ударили в колокола».

– Ну что я говорил? – крутанулся на каблуках торжествующе Николай Рындин.

– Высокие гости, в общем, довольны, – сделал бантиком губки Василий и засмеялся. – А отцы города мне пальчиком: это твои, мол, орлы?

– Все довольны, чего еще? – пожал плечами Матвей Дрынов и двинулся к площади, на которой был открыт теперь уже всем ветрам и взглядам этот вещий Боян.

Утро разгоралось. Солнце золотилось на листьях, безмятежно голубело небо. Голуби клубились над колокольней, видно, справляли гнезда. Бронзоволикий Боян сидел лицом к Деснице-реке. к лесным чащобам и поймам, и словно бы видел сквозь время то, что каждому здесь, у его подножья, не дано было видеть. «О Русская земля, – шевелились сухие губы Матвея, – ты уже за холмом!»

ЕГО ГОЛУБАЯ МЕЧТА
(рассказ)

Вся жизнь Матвея Митрофаныча прошла у культурного очага. Когда-то он был «избачом», потом избу-читальню сделали клубом, и его оставили в штате художественным руководителем. Когда же клуб возвели в ранг Дома культуры, ему, в знак особых заслуг, подыскали должность «технички». Матвей Митрофаныч не роптал, понимал, что пошел народ грамотный – после курсов, техникумов, а директор даже со специальным образованием, отчего так и чешет: рампа, нонаккорд, ватерклозет, система Станиславского и Мейерхольда. Но самое любимое его словечко – номенклатура...

Прежде Матвей Митрофаныч держал ключи, отпирал клуб и сейчас тоже держит и отпирает. Только разница в том, что над ним теперь вон сколько начальства. Зарплата почти такая же, зато никакой ответственности. Вымоешь ночью полы и день-день-

ской делай, что хочешь. А у него известная страсть: писать маслом картины. Матвей Митрофаныч всегда говорил, что рисует картины, но лет пять назад приезжал в Подолянь один художник, так он сказал: надо выражаться профессионально: картины пишут, да еще и маслом.

Матвей Митрофапыч пишет свои с незапамятных лет. Углем на бересте чертил острые лики в буденновках. Карандашом на бумаге рисовал бандитские кистени. А за масло взялся не так давно, уже после войны. Столько всего за жизнь написал, если рассовать – каждому в избу перепадет.

Хата Матвея стоит напротив Дома культуры. Культурная точка при нем, и он при ней, вроде при деле. Главное – люди не упрекают, что у него, Аксенова, потомственного хлебороба, шлея хлеборобская со плеча соскочила. Чует в себе Матвей силы невероятные, готов объять душой все окружающее. Когда накатит на него вдохновение, хватается за кисть и работает без сна, без еды, до остервенения.

С тех пор, как померли отец-мать, а затем и жена Луша, не оставив ему никого, Матвею в хате и словом не с кем перемолвиться. Что скажешь стенкам про думу свою, про мечтания и замыслов очертания. Зазвал он к себе как-то директора, Станислава Степаныча (тот вуз заочный кончал, должен, кажется, понимать), но тот, как только увидел Матвеевы картины в комнате, в сенях, даже сарае, так сразу же впал в крайнее изумление:

– Это, понимаешь, номенклатура! Прет из тебя, брат, святое искусство.

И разрешил занять под мастерскую котельную, откуда заодно и продолжать отопление Дома культуры.

– Тепло, смешно, и мухи не покусают,– прицокнул он языком.– Не забудь пригласить на новоселье.

Просились к Матвею на квартиру то молодой зоотехник, то осиротевший ветеринар, Матвей никого не пускал: да ну их, мороки с ними, отрывать будут от дела. Но, когда в передней появился директор – Номенклатура и сказал: «Принимай постояльца»,– а за ним, щебетнув, влетела девчонка, оказалось, художественный руководитель, Матвей и слов не нашел для возражения.

– Наш работник Круглова,– сказал ему Станислав Степаныч и подмигнул.– Так что обожай, но не обижай.

Девушку звали Нина – светленькая, голубоглазая, в коротенькой юбчонке стояла, опустив голову: боялась, откажут.

– Располагайтесь,– как можно добрее сказал Матвей Митрофаныч и тут же ушел жить в сарай, за неделю в доме и не показался.

– Извините, Матвей Митрофаныч,– встречалась утрами с ним у умывальника Нина,– я вас выжила?

– Ничего,– бодрился Матвей Митрофаныч и отворачивался, боясь случайно увидеть голые девичьи плечики.

После первой получки она пригласило его в комнату пить чай. «Неудобно как-то, Матвей Митрофаныч,– говорила она. – Чей дом – непонятно». Он пил, обжигался, стараясь скорее допить свое и уйти. Нина наливала еще и еще, затем кивнула на стенки:

– А это все вы нарисовали?

– Я, – сказал Матвеи Митрофаныч.

– А-а, – протянула Нина, – А я думала, все это из магазина. Эти, как их… с картин репродукции.

– Нет, – улыбнулся Матвей Митрофаныч, – здесь в доме все только свое.– И начал зачем-то рассказывать про себя. Нина слушала и удивлялась: никогда б не подумала, в деревне – и художник, неужели настоящий? У них в культпросветучилище,

на библиотечном, рисовал парнишка – так, самую малость, и то все ходили смотреть на него, как на мамонта.

Станислав Степаныч решил из Аксенова сделать, как он выразился при Нине, «номенклатуру». Развешал картины но всему Дому культуры: в зале, фойе и у себя в кабинете. Раззвонил по райцентру, что у них в студии при Доме культуры работает «дворцовый художник», народный умелец, «дитя того и этого света, а также мастер импровизации». Вскоре из областного радио прикатил в село корреспондент. Матвей Митрофаныч скрылся куда-то и целый день не показывался, за что получил нагоняй от директора, «ввиду небывалой скромности, пагубной для всякого деятеля культуры».

– В следующий раз отражу на бюджете,– сказал он Матвею.– Наложу на зарплату секвестр, никакой арбитраж не поможет. Бьешься за вас лысиной о паркет, а вы с Ниной не воспринимаете.

– Мы воспринимаем,– стоял и переживал Матвей Митрофаныч перед собственной картиной «Розы в октябре», висевшей за спиной у директора.– Только, прошу вас, увольте от...

– И уволю,– согласилось начальство. И вдруг хлопнуло его по плечу, расхохоталось.– Ну да черт с ними, с этими корреспондентами! Мы, Митрофаныч, пьесу эпохальную грохаем, так ты это... оформи спектакль. Нарисуй декорацию, чтобы как в Большом театре, не хуже. Ну-ну... ты можешь, а, Митрофаныч?..

Надвигался районный смотр художественной самодеятельности. Станислав Степаныч выбрал для постановки драму Ф. Шиллера «Разбойники». Кое-что урезал, кой-чего подпустил от себя, или, как он выразился, «подсовременил». И кружковцев для этого не хватило.

– Школьников мобилизнем, – прицокнув языком, сказал Матвею директор и тут же дал нагоняй:– Ты чего тянешь с оформлением, как бог с черепахой?

– Так ведь уже позабыл, какие они, средневековые замки: видел в Германии аж в сорок пятом.

Как только сшитые простыни были доведены до средневековой кондиции, Станислав Степаныч дал Матвею другое задание: выучить роль сына старика Моора–Франца.

Роль Матвею не нравилась. Он учил ее и проклинал тот день и час, когда свалился на его голову этот... Номенклатура. Замучил, спасу нет, теперь потащил на сцену. Кому нужна эта инсценировка, когда по телевизору хватает спектаклей московских театров? За месяц он к кисти не притронулся по-настоящему, а живописец, как снайпер: ему глаз да глаз нужен...

На прогоне спектакля присутствовал инспектор райотдела культуры Востров. Зал был переполнен. Подняли занавес. Согласно инсценировке, Матвей должен был появиться на сцене в обществе старика Мора – директора и Амалии – Нины.

– На выход,– шепнули Аксенову и слегка подтолкнули.

– Не пойду,– побледнел вдруг Матвей Митрофаныч.

– На выхо-од!– зашипели, замахали кружковцы – учителя, врачи, агрономы, схватили его под руки, подтащили к краю кулис.

– Все равно не пойду,– упирался ногами в рояль Матвей и смотрел на Нину – Амалию, на старика Моора – директора, на его руку у нее на плече.

Пауза затягивалась. В зале затрещали покашливания.

– Пойди сюда, Франц,– провозгласил со сцены старик Моор и скрипнул зубами.

– Не пойду,– замотал головою Матвей.

– О ужас! – воздел руки к небу старик Моор и опять опустил их на Амалию.– Я тебе говорю, Матвей, подойди!

Только Матвей хотел развернуться, как кто-то толкнул его в шею, так что он пробкой вылетел на сцену. Увидел совсем близко Нину – Амалию в голубом платье со шлейфом, гранд-даму, красивую, сероглазую, и все слова, которые учил он столько дней, разом вылетели из его головы. Он не слышал суфлера, слышал только ее...

– Ну вот и пришел, а ведь не хотел,– улыбнулся ехидно директор.

– Я уйду,– сунулся было назад Матвей Митрофаныч.

– Оставайся,– махнул директор,– да не упрямься.

– Я люблю тебя, Амалия, как себя самого,– шептала Францу суфлерша.– Я люблю тебя... люблю тебя...

– Убери руку,– входя в роль, сказал неожиданно Франц отцу – графу Моору, директору.– И вообще, не могу говорить ей эти слова при тебе. Или я, или ты. В пьесе тут не должно быть, кроме нас, никого, я читал...

Зал умирал со смеху.

Франц – Матвей потоптался на месте, оглянулся назад: там его караулили. Тогда он поклонился зрителям, пересек сцену и исчез за другой кулисой.

После такой «самодеятельности» директор уволил Матвея Митрофаныча со всех должностей: уборщицы и истопника. Но через неделю сам пришел к нему просить прощения. Однако картины со всех стенок содрал, добрался даже до библиотеки, где висели Матвеевы натюрморты «Яблоко только что из кадушки» и «Вино и виноград».

– Уберите пачкотню,– указал он библиотекарше.– Возбуждает не аппетит, а рвоту. Тут у вас все-таки номенклатура – классики всевозможных мастей.

За Матвея Митрофаныча вступилась только Нина – Амалия.

В качество меры наказания «злодею на сцене» Станислав Степаныч перевел Нину на другую квартиру, и в доме Матвея Митрофаныча опять стало пусто.

Матвей в котельной сидел теперь безвылазно, наверх и не показывался. Стащил к себе вниз свои впавшие в немилость картины, побросал их все в угол. Раскочегарив топку, долго смотрел на жар. Огонь возбуждал его, заставлял кипеть мысли и чувства. Он знал, что односельчане считают его чудаковатым: не пашет, как другие, не учит, не лечит, занимается тем, от чего ни проку, ни корму. Однако он знал и то, что в райцентре эти люди не преминут похвалиться, что мы-де подолянские, но не из подлесной, а из той Подоляни, где «Митрофаныч, который художник, живописует действительность резко и занимательно».

Нина ходила домой теперь через речку, на другой край села. Однако нет-нет, да и забегала по старой памяти, просто так, в хатенку под двумя рыжими кленами. Если бы знала она, что значил для Матвея Митрофаныча каждый ее приход. Снова и снова воображал он ту сцену, Нину – Амалию в голубом, облокотившуюся на скамейку – гранд-даму, красивую, сероглазую. Как она взглянула тогда, будто обдала кипятком! Глаза – акварель, серые в синюю краплинку... Он создаст шедевр. Должен же быть у каждого в жизни, черт возьми, свой шедевр! Не для всех, только для нее! Есть же в мире у кого-то твой настрой, такое же ощущение жизни, как у тебя, родная тебе душа...

Прошла осень, на исходе была и зима. Матвеи Митрофаныч писал картину, забыв обо всем на свете: лишь внушительный стук в котельную, в правую раму, напоминал ему иногда, что наверху стало холодновато, пора и топить. Нина стучала тюк-тюк-тюк, как синичка. «Вы тут совсем отощаете»,– совала она ему то пирожок, то конфеты. Он отмахивался и сразу же переворачивал свое

творение к стене. Ему ничего не было нужно – только сидеть, смотреть на Нину, которая была тогда гранд-дамой, в голубом и со шлейфом. Акварель. Капельки ультрамарина, глаза с синим ободком...

Весна ли была тому виной, но Нина тоже вдруг стала внимательнее к снегу, деревьям и почкам. Идет по дороге, остановится, слушает, как в след от каблука, позванивая, натекает голубовато-зеленая вода, как стекленеет в мартовских полях воздух, делает душу ее тяжелой, а голову легкой. И Нина окунулась в работу, она и не знала, что это так интересно – работать. Всего-то какой-нибудь свежий нюансик в их струнном квартете, а боже мой, сколько мучений. Оказывается, как здорово, когда отдаешься искусству, как, например, Матвей Митрофаныч. Этому в училище их не учили, этому и не научишь...

Матвей Митрофаныч закончил картину к началу апреля. Побаливала голова, поднялось кровяное давление. Но ничего, впереди – тепло, цветение садов. В субботу он сделал раму, натянул полотно. Ночью выбрался из котельной и, пройдя на цыпочках через фойе, подтянул к стене лестницу и укрепил картину на самом виду, над дверью в зрительный зал. А лестницу перенес через дорогу, домой.

Воскресным утром инспектор райотдела культуры Востров заехал в Подолянь по вопросу завершения отопительного сезона. Вместе с директором они вошли в фойе клуба, и оба невольно остановились: перед ними, во всю стену над входом в зрительный зал, высвеченное через верхнее оконце солнечным лучом, сияло нечто такое голубое и праздничное, что дух захватило. В сторонке толклись любопытные, среди всех Нина, Матвей Митрофаныч.

– Что это?– сдвинул брови директор.

– Картина,– подошел к нему поспешно Матвей Митрофаныч.– Мой голубой, как говорится, шедевр.

– Шеде-е-евр?! – Станислав Степаныч от изумления с минуту не мог продыхнуть.– Да знаешь ли ты, отче, что такое шедевр? Но-мен-кла-ту-ра! Высшая и последняя стадия...

– Глупости, – подлетела веселая Нина. – У искусства не может быть последней стадии.

– Верно, – подтвердил Матвей Митрофаныч,– Ох, эти мне злодеи на сцене!– наклонился Станислав Степаныч к Вострову и, уходя в кабинет, обернулся к Матвею:

– Убери стряпню, не срамись, Пикассо...

И Нина, как показалось Матвею Митрофанычу, засмеялась в угоду директору, а значит, и над тем, что висело в фойе на стене. И Матвей Митрофаныч уже не слышал ничего. «От тебя уходят в пространство струны,– мучительно думал он. – От другого уходят струны в пространство и где-то по звуку встречаются... Они не встретились, и я, выходит, прожил пустую жизнь, ничего не сумел»...

Матвей Митрофаныч перешел через дорогу, лег в постель и... умер.

Картину снять не успели. Она висела на самом видном месте в фойе, и все подолянцы, кто из ближних сел, кто из райцентра, шли взглянуть на «высшую и последнюю стадию Митрофаныча» – на его «голубой шедевр». Стояли, высоко подняв голову (ведь это же очень важно, как держишь голову, когда смотришь на настоящую вещь). Простой деревенский хлопчик тянулся с маленького островочка к простой деревенской хате, с которой стремился в голубизну аист – подломил крыло, оттолкнулся и на полувзмахе в крик...

Станислав Степаныч извлек из котельной остальные картины, отряхнул от угольной пыли, развесил их, где только можно, не забыл даже бильярдную. Ко входу придвинули стол с книгой отзывов: пожалуйста, записывайте свои мнения.

На следующей неделе в Доме культуры собралась сессия местного сельсовета. В конце ее подняли вопрос, как быть дальше с «фондом Аксенова»: оставить его для внутреннего употребления или толкаться, если это действительно ценно, в район? Говорили охотно и много, все знали Аксенова и подозревать не могли, что жизнь его, оказывается, была «достоянием», гордостью их села Подолянь. Горячо за движение картин «куда-нибудь выше, в район и так далее» выступал Станислав Степаныч Рыкун, назвавший в горячке Аксенова даже «народным артистом», достойным воспитанником Подолянского Дома культуры, с которым тот не порывал тесных творческих связей до последнего вздоха.

– Это праведник, солнце нашего села Подолянь, – сказал он в заключение и сел, довольный произведенным эффектом.

– Э, куда хватил, – встал тут же бригадир подолянской полеводческой бригады. – У нас таких солнц знаешь, сколько может набраться? В каждой бригаде. А солнце, товарищи, у нас, сами понимаете, только одно, – смотрел он куда-то мимо, на стенку. – А это был человек, художник, с отдельными недостатками. Хотя бы та сцена на сцене. Хм, народный артист! Сущие вы тогда, простите меня, Станислав Степаныч, сущие вы тогда оба были разбойники.

– Ну чего там,– зашумели в зале.– Кто старое помянет...

– А кто забудет, тому два глаза вон,– стоял на своем бригадир.– Я, товарищ, так вот приглядываюсь: чем-то это строеньице... в «голубом шедевре» скидывается на наш сельсовет, а? Скидывается. Но к чему на ней аист? Где вы видели у нас на сельсовете гнездо, товарищи, с аистом? Шутит, стало быть, автор? Что, без шуток нельзя? А что в действительности на сельсовете, товарищи? Флаг! А у него аист. Вы что-нибудь понимаете? Я лично – нет. Не понимаю я этого аиста. И вообще в широком смысле не понимаю искусства Аксенова. Сам Матвей Митрофаныч был человек неплохой, не возражаю. Но с фондом его, товарищ директор, надо повременить. У нас есть дела и поважнее...

Станислав Степаныч выходил из зала последним. Посредине фойе стоял человек средних лет, со светлой бородкой, явно не подолянский. Рассматривал «голубой шедевр» Митрофаныча.

– Вам чего, гражданин?– подошел к нему Станислав Степаныч.– Мы закрываем.

– Потрясающе! – сказал человек с бородкой.– Тонко, профессионально. Как он мог? Здесь, в деревне, один, без общенья... Мне рассказали, и я специально приехал,– повернулся он к Станиславу Степанычу.– Я из области, из Союза художников... Вы не поможете устроить мне встречу с теми, кто его близко знал?

На беседе Нина не выдержала, упрекнула: «Он же к вам туда не раз обращался. А теперь»...– «Да-да, я вас понимаю,– говорил художник задумчиво,– но я лично тут не при чем»...

Был голубой майский день. В сторонке, перезваниваясь серебром, пролетали дикие гуси. Струна к струне, голос к голосу. Еще пару месяцев, и год Нининой работы уже позади. Первая встреча с творчеством у нее была здесь, в Подоляни. Перед глазами всю жизнь у нее будет тот мальчишка из «голубого шедевра», чем-то похожий на Митрофаныча. И вдруг ей захотелось увидеть его – всегда тихого, беззаветного, вечно с кистью в руке. Она вздрогнула, вникнув наконец в смысл его простого шедевра. Это в полотне не обязательно голубое – просто небо, просто воздух, просто надежды, осуществление замысла. Это все лучшее в человеке и человек, которого не вернуть.

д. Костюрино